РОМАН-ДНЕВНИК



МЯСО ПОМНИТ

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Иван Гром

Мясо помнит

«Автор»
2026

Гром И.

Мясо помнит / И. Гром — «Автор», 2026

После смерти матери Максим Чернов возвращается в город, откуда бежал шестнадцать лет назад. В наследство ему достаются старая мясная лавка и синяя тетрадь. В лавке покупают то, что нельзя ни взвесить, ни простить: последние слова умерших, забытые лица, чужое горе. Но за каждую минуту утешения кто-то расплачивается целой жизнью. Чем больше Максим вспоминает, тем меньше может доверять собственным рукам, словам и дневнику. И когда из холодильной камеры раздаётся голос девочки, которой, по словам всех вокруг, никогда не существовало, ему предстоит выяснить не только кто там заперт — но и кто держал дверь.

© Гром И., 2026
© Автор, 2026

Иван Гром
Мясо помнит

МЯСО ПОМНИТ

«Память — это тоже голод. Просто большинство людей привыкли называть его любовью».

ДЕНЬ НУЛЕВОЙ

29 октября. Четверг.

Мама умерла с открытым ртом.

Я застрял на этой подробности. Господи, у меня из головы выветрились целые годы, а это — нет. Рот. Чёрная щель между губами. Последняя попытка что-то сказать или первый вдох, которого не случилось. Я уже третью бумажку испортил, пытаясь написать иначе. Ничего не выходит. Мама умерла с открытым ртом. И мне почему-то кажется, что она до сих пор пытается договорить.

Не могу согреть руки. Дома тепло, батарея даже обжигает, но пальцы деревянные. В детстве мама растирала их между ладонями, когда я прибегал с улицы. Я сейчас всерьёз поймал себя на желании позвать её. Открыл рот — и успел подумать, что она придёт с кухни. Какой же я идиот. Какой бесконечно жалкий, взрослый идиот. Если эта тетрадь кому-то попадёт, не верьте людям, которые рассказывают, будто к смерти близких можно подготовиться. Я пришёл сюда за наследством. А всё, что могу делать, — прислушиваться, не скрипнет ли её тапок в коридоре.

Соседка, которая нашла её, сказала, что лицо было спокойным. Врач сказал — сердце. Следователь вообще ничего не сказал, только долго смотрел на фотографию маленькой девочки на холодильнике, а потом спросил, есть ли у меня сестра.

Я ответил, что нет.

И это была правда.

По крайней мере, в тот момент я совершенно не помнил, чтобы она у меня была.

Пишу на обороте накладной. Колено упирается в край кровати, ручка скользит между пальцами. Я сижу в маминой спальне, а за стеной работает холодильная камера. Она гудит неравномерно: низкий бас, короткий скрежет и три сухих щелчка. Пауза. Снова бас. Так работают компрессоры, у которых давно пора менять подшипники. Я в этом мало понимаю, но даже полный дебил отличит звук неисправного двигателя от стука человеческих костяшек по металлу.

Пока я собирался с мыслями, кто-то постучал изнутри камеры семь раз. Я считал. Зачем-то считал — будто от числа ударов зависело, услышу я восьмой или нет.

Между прочим, в этой камере нет людей.

В ней лежит мясо.

Я знаю, как это звучит. Я тоже хочу, чтобы меня сейчас кто-нибудь встряхнул и сказал: «Макс, ты перепил, ложись спать, долбоёб». Только в комнате нет никого, кто мог бы так сказать. А я всё равно слышу, как шуршит ткань за спиной.

Я не приезжал в Яровинск шестнадцать лет. Последнее, что помню о городе: августовская духота, автобусная станция, грязный чемодан в руке и мать, стоящая по другую сторону ограды. Она не плакала. Даже не подняла руку. Только крикнула, чтобы я не забывал есть.

Она всегда так говорила.

«Максим, поешь».

«Максим, не уходи голодным».

«Максим, ты же совсем исхудал».

Странная навязчивость для женщины, которая торговала мясом. Будто всё остальное в жизни было второстепенно. Семья, школа, деньги, одиночество, драки во дворе — всё можно было исправить, если посадить человека за стол и положить перед ним тарелку.

А потом она умерла, и мне достался магазин.

Мясная лавка на окраине, пристроенная к старому двухэтажному дому. Красные буквы «ЧЕРНОВЫ» над входом давно выцвели до бурого цвета. Ступенька перед дверью просела. На витрине до сих пор наклеен пластиковый поросёнок, улыбающийся с такой безумной радостью, что мне захотелось сорвать его первым делом.

Мама оставила завещание и маленькую синюю тетрадь.

Тетрадь нашлась в кухонном шкафу, между пакетом гречки и банкой растворимого кофе, который она терпеть не могла. На обложке — масляное пятно, внутри — почерк, от которого у меня вдруг свело желудок. Почерк был нервным, незнакомым. Мама писала аккуратно, с одинаковыми круглыми буквами. Здесь же слова будто выцарапывали на бумаге, торопясь, пока кто-то не отнял ручку.

На первой странице было написано:

«Правила для того, кто останется».

Ни даты. Ни обращения.

Первое: не выключать холодильную камеру ни при каких обстоятельствах.

Второе: не продавать товар после семи вечера, даже если покупатель предлагает хорошие деньги.

Третье: никогда не отвечать человеку, который назовёт тебя так, как называла мать в детстве.

Четвёртое: если мясо заговорит, не слушать, что оно просит. Слушать, что оно помнит.

Я держал тетрадь так крепко, что остались белые вмятины на пальцах. Потом засмеялся. Не своим голосом — противно, коротко, как будто что-то вырвалось из желудка и не нашло дороги наружу.

У мамы, видимо, капитально съехала крыша ещё до инфаркта. А я, сука, не приезжал шестнадцать лет и теперь стоял над тетрадью, как самый заботливый сын на свете.

В старости бывает. Я видел это по работе: пожилые соседи, которых не удавалось убедить выбросить пакеты с мусором; бабушки, заклеивающие вентиляцию фольгой; мужчины, разговаривающие с пустыми лифтами. И всё же от маминой тетради становилось не по себе.

Я положил её на стол, сходил за пивом в круглосуточный, выпил две банки и попытался позвонить Рите.

Номер остался у меня с тех пор, как я уехал. Я никогда его не удалял. Сначала из гордости — чтобы однажды позвонить и не просить ни о чём. Потом по привычке. А потом потому, что страшно было увидеть сообщение оператора: «Номер не существует».

На третий гудок ответила женщина.

— Макс?

Голос был ниже, чем я помнил. Взрослее. И почему-то от него заболело в груди сильнее, чем на похоронах.

— Привет.

— Ты приехал.

— Да.

— Я видела тебя у кладбища. Не подошла.

— Спасибо.

— Не за что. Ты в доме?

— Угу.

Пауза затянулась. Сквозь трубку я слышал собачий лай и звук посуды. У Риты за прошедшие годы появилась целая жизнь, в которую я больше не входил. Это должно было быть

нормально. Только у меня в памяти вместо её лица до сих пор жил запах мокрых волос, и от этого хотелось врезать себе кулаком в челюсть.

— Макс, — сказала она наконец, — ты открыл заднюю дверь магазина?

— Ещё нет.

— И не открывай сегодня.

— Что там, трупы?

Она не засмеялась.

— Постарайся поспать. Завтра приеду. И, пожалуйста, не ешь ничего из холодильника.

— Рита, какого же хуя вы все от меня скрываете?

— Завтра.

Связь оборвалась.

Свет погас. Лампа моргнула и оставила меня в темноте, такой плотной, что я не сразу понял: глаза открыты. Перед лицом перестала различаться моя собственная ладонь. Когда лампа загорелась снова, из пристройки донёсся удар — будто на металлическую полку уронили что-то очень тяжёлое и мягкое.

Я взял телефон, включил фонарик и вышел на лестницу. От кухни к магазину вела узкая дверь, обитая потрескавшимся дерматином. На ней висели два засова. Первый сверху, второй на уровне колена. Я знал эту дверь с детства, но совершенно не помнил, зачем мама поставила на неё второй засов.

Из-за двери тянуло холодом.

Я наклонился, чтобы посмотреть на щель у пола, и услышал совсем рядом женский голос.

Он произнёс только одно слово:

— Максик.

Я сел на ступеньку.

Потом упёрся затылком в стену и сидел, пока не затекли ноги.

Я не знаю, сколько просидел на ступеньке. На бумаге выступает влажное пятно от моей ладони. За дверью опять тихо. Я пишу, чтобы не начать выдумывать, что всё это приснилось. С завтрашнего дня буду записывать каждую мелочь. Неважно, какой бред получится. У меня нет другого способа сохранить то, что я вижу, пока оно не превратилось в чьё-то объяснение.

Только что вспомнил ещё кое-что.

В детстве мама перестала называть меня Максиком после того, как пропала Оля.

Оля.

Вот теперь я вспомнил.

У меня была сестра.

Восемь лет.

Розовые резиновые сапоги.

Два передних зуба росли криво, и она ужасно стеснялась улыбаться на фотографиях.

Но фотография на холодильнике, которую рассматривал следователь, изображала другую девочку.

У той были ровные зубы.

И лицо, очень похожее на моё нынешнее.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

30 октября. Пятница.

Меня разбудил запах жареного лука.

Не будильник. Не свет. Именно запах — густой, сладкий, почти домашний. Такой, от которого у нормального человека урчит живот, а у меня вдруг одеревенели ноги. Я помню эту кухню с детства. Помню, как мать стояла у плиты спиной ко мне. Помню, что однажды мне очень хотелось обнять её — и я не подошёл. Дурацкая мелочь, которая теперь режет сильнее похорон.

У Риты на правой ладони есть белёсый шрам, похожий на маленькую запятую. Я смотрел на него и едва не спросил, откуда он. Раньше я знал. Мы были детьми, тогда я знал о ней всё — даже как она обманывает, когда хочет выглядеть смелее. Теперь я боюсь задавать вопросы. Вдруг ответ окажется не моим воспоминанием, а чьим-то чужим? Вдруг она скажет: «Ты сам это сделал»? Вся кожа на затылке стянулась. Я пишу длинными предложениями, чтобы не оставить места для чужого голоса.

Лук не должен был меня напугать. На кухне всегда пахло едой, даже когда мама уезжала на неделю. Сковороды, старые доски, пластмассовая крышка от ведра — всё было пропитано чесноком, жиром и специями. Но сегодня к луку примешивался сладкий, густой дух подгоревшего сахара. Так пахнет, когда на сковороде забыли варенье.

За окном ещё стояла грязная, недопроснувшаяся серость. Мне казалось, я только что закрыл глаза.

Я вошёл на кухню и увидел, что конфорка включена.

На ней стояла пустая сковорода. Нагретая до синевы. Из-под ручки поднимался дымок. По краю ползла маленькая капля чего-то янтарного, и прежде, чем я успел выключить газ, она упала на пламя с коротким шипением.

Я живу один. Мать похоронили вчера. Газ на ночь я перекрыл — в этом я уверен, потому что перед сном вернулся проверить вентиль ещё раз. Два раза.

По полу от стола до двери тянулась дорожка мокрых следов. Человеческих, босых. Следы были небольшими, как у ребёнка лет десяти. Пальцы отчётливые, пятки узкие. Идти по ним было неприятно, словно мне предлагали повторить чей-то последний путь.

Они заканчивались перед холодильником.

Холодильник стоял закрытым.

На дверце висела фотография девочки с ровными зубами. Я долго сравнивал снимок со своей вчерашней памятью об Оле. Потом снял фотографию, перевернул и увидел на обороте надпись: «МАКСИМ. 1998».

На снимке была не девочка.

На снимке был я.

Меня вывернуло сухой судорогой. Желудок был пуст. Во рту осталась кислая слюна, и от неё мне почему-то стало ещё страшнее: тело не понимало того, что голова пока отказывалась признать.

Рита приехала прежде, чем я успел отмыть сковороду и убедить себя, что мокрые следы мне привиделись. Седая прядь у виска, прямой нос, потрескавшиеся губы, старая коричневая куртка. Из той девчонки, которая в пятнадцать лет бросала мне на балкон снежки, выросла женщина, привыкшая держать чужих животных, пока им больно. Это было видно по рукам — небольшим, сильным, с короткими ногтями, по спокойному вниманию в глазах, по тому, как она сначала осмотрела мои пальцы и только потом лицо.

— Ты не спал, — сказала она.

— Тебя тоже рад видеть.

Она обняла меня. Неловко, осторожно. От её волос пахло морозным воздухом, шампунем и табаком, который она, кажется, так и не бросила.

Я едва не прижался лицом к её шее, как мальчишка.

Вместо этого рассказал про сковороду и следы.

Рита дослушала не перебивая. Потом попросила показать тетрадь.

Я раскрыл обложку.

Правила исчезли.

На первом листе оказалась обычная таблица. Даты, фамилии, вес, выручка. Галина Чернова вела её аккуратным почерком, с теми самыми круглыми буквами, которые я помнил.

— Здесь были правила, — сказал я.

Рита посмотрела на меня так, как смотрят на собаку с переломанной лапой, когда уже знают, что не смогут помочь.

— Ты читал их вчера?

— Да, блядь. Вслух почти. И записал.

Я бросился за накладной, на которой ночью делал заметки.

Она лежала на столе. Размашистое начало, жалобы на мать, первые три правила — всё на месте. Но четвёртое было другим.

«Если мясо заговорит, не слушать, что оно просит. Не спрашивать, кого оно помнит».

Одно маленькое «не».

Рита коснулась строки и быстро отдёрнула палец, будто бумага оказалась горячей.

— Этого там не было, — сказал я.

— Я знаю.

— Откуда?

Она встала, подошла к окну и посмотрела на магазин. С улицы хорошо было видно выцветшую вывеску и грязные витрины. На тротуаре остановилась женщина с пакетом, увидела, что свет внутри не горит, и поспешно пошла дальше.

— Скажи сначала, что ты помнишь про Олю.

У меня пересохло во рту.

— Сестра. Младшая. Пропала, когда мне было… двенадцать? Не знаю. Это же всё реально было?

Рита долго молчала.

— Макс, — сказала она наконец, — ты только не злись. У тебя никогда не было сестры.

Я уже открыл рот, чтобы возразить, когда из магазина донёсся скребущий звук. Медленный. Раз-два, раз-два, будто по внутренней стороне холодильной дверцы водили тупым ножом.

Рита побелела.

— Господи, — сказала она. — Ты её оставил включённой.

— Так мать написала, не выключать.

— Я спрашиваю не про электричество.

Она прошла в коридор и остановилась перед обитой дерматином дверью. Верхний засов был закрыт. Нижний висел наполовину выдвинутым. По внутренней стороне двери тянулась тонкая коричневая полоса, словно кто-то провёл по ней грязным пальцем.

Рита поднесла нос ближе.

— Ты сюда ходил ночью?

— Нет.

Она показала мне коричневый след.

Только теперь я заметил, что он состоит из крошечных точек. Так выглядит отпечаток языка на запотевшем стекле.

— Есть тряпка? — спросила она.

— Зачем?

— Сотри это. И больше не трогай.

Я смочил полотенце водой. Провёл по двери один раз. След не изменился. Второй. Третий. После четвёртого полотенце стало красным, а я услышал у себя за спиной тихий детский смешок.

Рита схватила меня за запястье.

— Хватит.

— Это кровь?

— Хватит, Макс.

Из-за двери кто-то ударил ладонью. Один раз, совсем близко. Мы оба отшатнулись.

Потом тишина.

У Риты дрожали губы.

— Ты правда не помнишь, что мы сделали тогда? — спросила она.

— Когда?

Но она уже натягивала куртку.

— Я вернусь вечером. Если придёт Ключник, говори, что магазин закрыт. Что бы он ни пообещал.

Она ушла, оставив на кухне запах мокрой шерсти и сигарет.

Когда Рита ушла, я полез в мамин ящик и нашёл на самом дне фотографию. Наш дом, август, мне на вид двенадцать. Я стою слева, Рита справа, а между нами — девочка в розовых резиновых сапогах.

Лицо девочки было вырезано ножницами.

На обороте почерком Риты написано:

«Не позволяй ему вспомнить целиком».

Внизу дата: 30 октября. Сегодня.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

31 октября. Суббота.

Вчера я думал, что самое страшное в маленьком городе — это когда все знают, почему ты приехал.

Сегодня понял: хуже, когда все знают, зачем ты вернулся, а ты сам — нет.

Когда Ключник ушёл, я вымыл кружку, из которой он пил. Потом вымыл снова. У этой кружки была трещина с внутренней стороны, и ноготь цеплялся за неё так, будто из фарфора торчал маленький зуб. Хотел выбросить. Не смог. Мать бы сказала, что хорошими вещами не разбрасываются. Мать бы вообще много чего сказала. На самом деле я всё ещё разговариваю с нею. Смотрю на пустой стул и спрашиваю: «Чем ты меня кормила, мам?» А затем прислушиваюсь, не отвечает ли кто-то в трубе.

Утром зашёл Ключник.

Гоша Ключников — краснолицый мужчина лет пятидесяти, бывший мамин помощник. С детства помню его толстыми пальцами, неизменно чистым фартуком и манерой говорить очень тихо, как в церкви. Он принёс пакет булочек, термос и ключи от заднего двора. Сел за кухонный стол, не снимая шапки. На правой руке не хватало ногтя на среднем пальце.

— Галина не любила, когда товар портится, — сказал он.

— Магазин закрыт.

— Вижу. Товару всё равно, что ты скорбишь.

— Вы знаете про Олю?

Он перестал откручивать крышку термоса.

В такой паузе можно услышать гораздо больше, чем в признании. Тиканье часов. Водяную каплю за раковиной. Как чужой человек прижимает язык к нёбу, прежде чем соврать.

— Какую Олю?

— Мою сестру.

— У тебя не было сестры, мальчик.

Он произнёс последнее слово ласково. Почти нежно. И именно поэтому мне захотелось ударить его.

Ключник отхлебнул чай и посмотрел на дверь в пристройку.

— Тебе мать бумажки оставила?

— Да.

— Тогда читай, пока можешь. К вечеру половина изменится. А к первому снегу не вспомнишь, что вообще было написано.

— Что значит «изменится»?

— Не задавай много вопросов. Некоторые вопросы пахнут.

Я засмеялся. Получилось скверно.

Он вдруг протянул руку и сжал мои пальцы так крепко, что хрустнули суставы.

— Слушай меня внимательно. За этим прилавком продавали очень много всякого. Сало, говядину, печень. Иногда — то, за чем люди готовы стоять под дверью на коленях. Твоя мать умела говорить им «нет». А ты не умеешь. Поэтому иди отсюда. Продай дом. Сожги накладные. Закопай тетрадь. И, когда позвонит сестра, не бери трубку.

— У меня нет её номера.

Он поднялся, вытер рот рукавом.

— Появится.

Уже на пороге Ключник остановился.

— И ещё, Максик. Не верь Рите. Она всегда выбирала себя.

Я вспомнил третье правило.

Мне хотелось ответить: «Пошёл нахуй».

Не ответил.

Ключник стоял спиной, будто ждал. Секунда, две, десять. Потом выдохнул через нос и вышел. На крыльце его шаги быстро стихли, но странное ощущение осталось: словно в кухне продолжал сидеть кто-то, кого я не видел.

После обеда я открыл магазин с улицы. Не заднюю дверь из дома. Убедил себя, что это безопаснее, хотя не представлял, чем один кусок дерева отличается от другого.

Внутри пахло хлоркой, пряностями и свежей холодной кровью. Температура на дисплее основной витрины показывала плюс два градуса. Мама поддерживала идеальный порядок: ножи на магнитной полосе, кассовая лента, пакеты, весы и бумажная табличка «СЕГОДНЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ». Полки за прилавком были вымыты до блеска.

С дверцы большого холодильника свисал шнур с металлическим замком. Замок был навешен не снаружи, а так, чтобы его можно было открыть только изнутри камеры. Я долго рассматривал странную конструкцию. Она не удерживала дверь закрытой. Скорее, напоминала игрушечную защёлку, которую кто-то поставил, чтобы успокоить себя.

В холодильной комнате висели аккуратные куски мяса. Свиные полутуши. Говяжьи отрубы. Стальные крючья. Я проверил маркировки, сверил даты. Всё выглядело нормально.

Если не считать одного куска.

На нижней полке лежала вытянутая свёрнутая масса, запечатанная в сероватую плёнку. Без бирки, без производителя, без даты. Внутри плёнки поблёскивало что-то молочное. Я поднял упаковку двумя руками. Килограммов пять, не больше. Она оказалась тёплой.

Я быстро опустил её обратно и посмотрел на термометр.

Плюс два.

Поднёс ладонь снова.

От упаковки исходило тепло живого человеческого тела. Не горячее, как после плиты. Именно живое — такое, какое чувствуешь, когда случайно касаешься плеча человека в автобусе.

Может, оборудование работает неправильно, подумал я. Может, утеплитель снаружи. Может, в плёнке химическая грелка. Человек способен выдумать бесконечное количество причин, чтобы не признавать ужасного.

Я взял нож и кончиком поддел край упаковки.

Молочная жидкость внутри дрогнула.

Потом, совершенно отчётливо, под плёнкой отпечатались пять пальцев.

Не сверху, где лежала моя рука.

Изнутри.

Пальцы медленно распрямились. Между ними протянулись тонкие белые нити. По упаковке прошёл короткий спазм. Сначала я услышал влажный шорох, потом слабый стук, как если бы кто-то кончиками ногтей трогал стекло.

— Папа? — спросил детский голос.

Я выронил нож.

Он упал на пол и звякнул так громко, что мне заложило уши.

— Папа, я тут.

Мне тридцать шесть. У меня нет детей. Я развёлся пять лет назад, потому что мы с женой три года пытались зачать ребёнка, пока наконец не перестали смотреть друг другу в глаза. Я всегда думал, что это уже не больно. Оказалось, в груди до сих пор есть место, куда можно воткнуть иглу одним-единственным словом.

— Кто ты? — спросил я.

Изнутри плёнки донёсся мягкий скрежет.

— Ты меня вчера принёс, — ответил голос. — Ты сказал, что теперь я буду хорошей.

Мой желудок сжался.

Не потому, что фраза была страшной.

Потому что последнее слово произнесли голосом моей бывшей жены.

Я отступил, ударился плечом о подвешенную тушу и заорал. От собственного крика стало только хуже. Мясо на крюках слегка качнулось. Где-то в глубине камеры щёлкнуло реле. И мне показалось — именно показалось, я должен это подчеркнуть, — что все куски одновременно повернулись ко мне гладкими сторонами.

За спиной хлопнула дверь магазина.

— Максим! — крикнула Рита. — Не стой там!

Я вышел в торговый зал на ватных ногах. Рита увидела моё лицо, промолчала, налила воды из бутылки. Я выпил почти всю, не чувствуя холода.

— Ты что-то трогал? — спросила она.

— Мясо говорило.

— Что именно?

— Звало меня папой.

Рита опустилась на стул. Костяшки её пальцев побелели.

— Значит, началось раньше.

— Что началось?

Она посмотрела на закрытую дверь камеры.

— Возврат.

Слово было произнесено так просто, будто речь шла о просроченной накладной.

— Что за возврат, мать твою?

Рита потерла ладонью лицо.

— Я не могу всё сказать сразу. Ты не удержишь.

— Попробуй, блядь.

Она долго смотрела на меня. Потом сказала:

— Мы с тобой в детстве кое-кого продали.

Не могу уснуть. Рита осталась в гостиной, сказала, что не хочет ночевать одна. Я тоже не хочу. Не буду врать в дневнике хотя бы себе.

Она спит на диване под старым маминым пледом. Я услышал, как она тихо плакала перед тем, как уснуть. Не подошёл: не знал, имеет ли право её трогать.

Из холодильника два раза стукнули.

По радио, оставленному мамой на кухне, играет какая-то эстрада девяностых. Я не включал его. На ручке громкости стоит ноль.

На последней странице синей тетради обнаружилась запись, которой утром не было:

«Возврат оформляется только в присутствии покупателя».

Ниже — три фамилии. Первая: Чернов.

Вторая: Седых.

Третья зачёркнута так глубоко, что бумага прорвана.

И ещё кто-то под фамилиями добавил сегодняшнюю дату.

Почерк детский.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

1 ноября. Воскресенье.

Рита спала с открытыми глазами.

Человек может полчаса рассматривать замочную скважину и перестать замечать дверь целиком. Вот со мной случилось что-то похожее. Я различаю царапины на мебели, занозу на краю стола, чужую ресницу на простыне. Зато перестал понимать, сколько комнат в этом доме. Иногда по пути к туалету я прохожу лишний дверной проём. Оборачиваюсь — там обычная стена. Но почему-то спина помнит, как в неё дышали из того, несуществующего коридора.

Я вначале решил, что она мертва. Не подумал, не предположил — уже *знал*. Я успел прожить её смерть целиком: звонок, чужой коридор, пластиковый пакет с вещами, одиночество потом, когда некому сказать даже «передай соль». Только затем заметил, что она дышит. Я положил ладонь ей на плечо и держал, пока пальцы не перестали трястись.

Не полностью. Веки были опущены, между ресницами оставалась узкая белая полоска, и в ней виднелся неподвижный край радужки. В детстве я видел такое у нашего школьного сторожа. Он засыпал на стуле в коридоре, и дети спорили, следит ли он за ними. Мы двигали перед его лицом руками. Сторож не реагировал. Потом однажды поймал Петю Гришина за запястье, не открывая глаз, и сказал, что оторвёт ему пальцы.

Вспомнил это, стоя над Ритой с чашкой кофе в руке. От воспоминания стало стыдно. Я уже собирался отойти, когда она схватила меня за предплечье.

— Не ходи туда, — сказала она.

— Куда?

— Под стол.

— Какой ещё стол?

Рита открыла глаза. Посмотрела на меня, на кофе, на окно, словно проверяла, вернулся ли мир на прежнее место.

— Извини. Приснилось.

— Тебе тоже снятся сны с продолжением?

— Не шути так.

Она отпустила мою руку. Остались четыре розовых следа, один глубже остальных. Интересно, почему я заметил именно это. В обычной жизни мозг не запоминает узор от чужих пальцев, но когда боишься потерять собственную реальность, начинаешь рассматривать всё как улику.

Рита была в моей старой футболке. Её одежда сушилась на батарее — ночью она пришла с улицы вся мокрая, будто не по городу шла, а в реку залезала. Я помню, что предложил ей сухие вещи. Не помню, почему у неё были мокрые волосы.

— Расскажи про Олю, — попросил я.

— Сначала поешь.

— Я серьёзно.

— И я серьёзно. Ты со вчерашнего дня ничего не ел.

Она открыла холодильник и достала яйца, хлеб, сливочное масло. Я смотрел, как она разбивает скорлупу одной рукой. На четвёртом яйце остановилась. Поднесла его к уху. Потом осторожно положила обратно в коробку.

— Это не трогай.

— Почему?

— Потому что шевелится.

Я прислушался. Ничего.

— Ты издеваешься?

Рита посмотрела на меня.

— Я слишком долго здесь живу, чтобы шутить про еду.

После завтрака она принесла из машины папку. Внутри лежали копии газетных статей и школьный снимок 2002 года. Наша школа, четвёртый «Б», тридцать детей. На фотографии я сидел в первом ряду, Рита стояла за моей спиной. Между нами было пустое место, слишком узкое для взрослого и вполне подходящее для ребёнка. Все смотрели в объектив. Я — немного левее. Рита — немного правее. Мы оба будто следили за тем, кто стоял между нами.

— Это ты вырезала лицо Оли? — спросил я.

— Нет.

— Тогда кто?

— Не всё, чего нет на снимке, вырезали ножницами.

Я хотел сказать, что ненавижу загадки, но она уже раскрыла газету.

«В ЯРОВИНСКЕ ПРОВЕДЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ЦЕХА».

Подзаголовок: «Жители получили новые рабочие места».

И ни слова про пожар. Ни слова про пропавших детей. На нижнем снимке стояли мэр Дорофеев, мой отец и Гоша Ключников. Отец умер, когда мне было девять. Я помнил похороны, холодный дождь, мамин чёрный платок.

На фотографии под газетой значилась дата: 14 августа 2002 года.

Отец улыбался живым лицом.

— Это ошибка, — сказал я.

— Нет.

— Он умер в девяносто девятом.

— Вот именно.

Надо остановиться. Я переписываю этот разговор уже третий раз. Рука дрожит. На первом листе я написал «отец уехал». На втором «отец пропал». Теперь — «отец умер». Если я буду пытаться выбрать правильный вариант, то сойду с ума до обеда.

ФАКТ: на снимке человек с лицом моего отца. Газетная дата — 2002 год. Память о похоронах относится к 1999 году. Я не могу доказать ни одно из этих утверждений.

Далее.

Днём мы поехали на кладбище. Рита настояла. За воротами стояли три машины и старый мужчина с метлой. Могилу матери завалило мокрыми листьями. Я поставил принесённую свечу в банку из-под огурцов, и от холода пальцы сразу перестали слушаться.

Отец лежал через две дорожки. На камне была фотография. Чёрно-белая, выцветшая. Даты: 1958—2002.

Я смотрел на них, пока числа не начали расплываться.

— Почему я помню другие похороны?

Рита присела перед камнем. Положила в трещину маленький кусочек красной нитки.

— Потому что ты туда ходил.

— Куда?

— На похороны, которых не было.

Она повернулась ко мне. Лицо обветрено, глаза красные. Ничего красивого в этой картине не было, и всё же я вдруг совершенно отчётливо захотел поцеловать её. Не ради утешения. Чтобы проверить, существует ли тепло, которое нельзя объяснить прошлым.

Вместо этого спросил:

— Ты меня любила тогда?

Рита усмехнулась, и усмешка вышла такой усталой, будто ей пришлось тащить её из-под тяжёлого шкафа.

— Тогда? Мы были детьми, Макс.

— Это не ответ.

— А сейчас ты спрашиваешь не о том.

На обратном пути я купил две бутылки воды. Когда вернулся к машине, Рита стояла возле открытого багажника и разговаривала по телефону.

— Нет, он не помнит, — говорила она. — Да, фотографии видел. Нет, я не давала ему пробовать. Ты сказал, что у нас ещё неделя.

Увидев меня, она резко оборвала разговор.

— Кто звонил?

— Клиент.

— В воскресенье?

— Животные не отдыхают по выходным.

Я не стал спорить.

Но вечером обнаружил в её машине, под сиденьем, белую пластиковую карту. На ней было напечатано: «Холодильный цех № 2. Сектор возврата». Ни имени. Ни фотографии. Только номер: 17.

Рита сказала, что карта не её.

Мне хотелось поверить.

Я не поверил.

Когда я уже перестал вздрагивать от каждого шороха, в дверь трижды позвонили.

Я подошёл к глазку. За дверью стояла девочка. Лет восьми. В розовых резиновых сапогах.

Она прижимала к груди большой кусок сырого мяса, обёрнутого газетой.

— Максик, — сказала она в дверь, — мама просила вернуть сдачу.

Я не открыл.

Через минуту посмотрел снова. Коридор был пуст.

Я не прошу тебя мне верить. Я бы и сам не поверил. Но если когда-нибудь тебе покажется, что в знакомом коридоре появился ещё один поворот, сначала включи свет. Потом решай, куда идти.

На коврике лежали двадцать семь рублей мокрыми монетами.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

2 ноября. Понедельник.

Я поклялся себе, что не стану писать о том, как сегодня разрезал руку, потому что описание будет звучать противно и совершенно бесполезно.

Кровь не пахнет железом, когда она твоя. Она пахнет бедой — тёплой тряпкой, мылом, страхом, который сразу становится потным. Я всерьёз боялся, что пальцы останутся на полотенце, если разожму кулак. И ещё я боялся позвать маму, потому что она придёт. Не метафорически. Не в памяти. Придёт, достанет бинт, назовёт меня Максиком — и я, сука, позволю ей перевязать руку. Настолько хочется быть ребёнком хоть одну жалкую минуту.

Но ради чего тогда нужен этот дневник? Чтобы оставлять самое отвратительное за кадром? Так ведь именно с этого всё и началось. С желаний не видеть, не вспоминать, не называть.

Я пошёл за сигаретами, потому что дома ещё немного — и начал бы грызть собственные ногти до мяса. Рита спала. Мне казалось, что я сумел наконец вырваться из дома и всё теперь может стать нормальным: холодная улица, банка кофе, очередь из двух человек, нелепая реклама на кассе. Простые вещи, у которых нет скрытого смысла.

В очереди передо мной стоял мужчина в серой куртке. Он держал в руках детскую шапку с двумя помпонами. На манжете куртки расплывалось тёмное пятно.

— Вы за мной? — спросил он, не оборачиваясь.

— Нет.

— Зря, — сказал мужчина. — Я думал, ещё кто-нибудь придёт.

Продавщица пробила ему пачку соли и бутылку водки. Он расплатился, повернулся и посмотрел мне в глаза.

Лицо было незнакомым. Нос широковат, под глазом родинка. Но голос, который я услышал, принадлежал мне самому:

— Не забывай, как мы держали дверь.

Я оставил сигареты на прилавке и вышел. Продавщица что-то крикнула вслед. На улице пахло мокрой резиной и бензином. Я прислонился к остановке и долго смотрел на свои ладони. На левой — старый шрам между большим и указательным пальцами. Помню, в детстве порезался консервной банкой. И вдруг вспомнил не банку, а металлическую ручку двери. И маленькие ногти с облупленным розовым лаком, вцепившиеся с другой стороны.

Я не мог вспомнить, что было за дверью. Зато тело помнило: пальцы сами сжались, чтобы удерживать ручку. Меня стошнило прямо в снег. Вот какая, блядь, удобная штука память: вырежешь вину, а руки продолжают работу.

Вернувшись, я обнаружил Гошу Ключникова в лавке. Он стоял за прилавком и резал мясо на порции. Нарезка шла быстро, уверенно. Я даже успел почувствовать облегчение: наконец кто-то делает понятную работу.

— Я же сказал, закрыто, — начал я.

— В холодильнике товар гниёт, — ответил он, не глядя. — Твоя мать не для этого до шестидесяти четырёх лет горбатилась.

— Убирайся.

Гоша поднял нож, положил его на стол и повернулся. Фартук оказался мокрым. По нижнему краю текла красная жидкость, но пол оставался сухим. Я не сразу понял почему: капли ползли вверх по ткани.

— Ты ведь видел сдачу, — сказал он.

— Какие деньги?

— Двадцать семь рублей. Она всегда пересчитывает. У неё на это времени хватает.

Я схватил его за ворот и прижал к холодильной дверце. Металл стукнул ему по затылку. Гоша не сопротивлялся. Он был крупнее меня, крепче и, наверное, мог бы вывернуть мне руку одним движением. Вместо этого смотрел с жалостью.

— Она не виновата, Максим. У неё не было выбора.

— Кто она?

— Твоя мать.

Я ударил его.

Кулак встретил щёку, костяшки вспыхнули болью. Он согнулся. Я ударил ещё раз — сильнее, злее. В голове не было ничего, кроме желания наконец получить ответ. Я бил его и одновременно ненавидел себя за сладкое, постыдное облегчение. Будто если проломить человеку череп, ответ выпадет из него вместе с зубами. Вот до какого состояния я докатился.

Гоша упал на колени, закрыв голову руками.

— Ты ведь знаешь, кто держал дверь, — прошептал он.

В холодильной камере что-то резко грохнуло.

Я повернул голову.

Гоша толкнул меня в спину. Я поскользнулся на мокром полу, ухватился за металлический край рабочего стола и почувствовал, как острый нож прошёл по ладони. Боль пришла не сразу — сначала было ощущение, будто я провёл рукой по туго натянутой струне. Потом кожа разошлась, и кровь выступила яркой полосой.

Я заорал.

Гоша метнулся к двери. На выходе обернулся и сказал:

— Когда вспомнишь, не ищи виноватых среди тех, кто остался жить.

Я стоял с ладонью, завёрнутой в полотенце. Кровь мгновенно пропитывала ткань. Пальцы шевелились — это было хорошим знаком, хотя ничего хорошего вокруг уже не оставалось.

Потом из холодильника донёсся женский голос:

— Макс. Дай посмотреть.

Мамин голос.

Точный до неприятной привычки чуть тянуть шипящие.

— Покажи руку. Я перевяжу.

Я поднял окровавленное полотенце. Дверь холодильника медленно открылась сантиметров на пять.

Из щели выступили пальцы.

Белые, влажные, с коротко остриженными ногтями.

Мамины руки были крупными, со вздувшимися венами и круглыми суставами. Эти — детские. Они дрожали от напряжения. Казалось, кто-то держит изнутри тяжёлую дверь и с трудом проталкивает кисть наружу.

— Мам? — сказал я.

Пальцы резко согнулись.

Кто-то внутри засмеялся.

Не ребёнок. Не женщина. Десятки голосов слились в один сухой стрекочущий звук, как когда на раскалённую сковороду высыпают горсть крупных насекомых.

Я отступил, прижимая к груди раненую руку.

Дверь захлопнулась.

Стук.

И снова тишина.

В травмпункт меня отвезла Рита. Наложили шесть швов. Врач спросил, как поранился. Я сказал — разделочный нож. Он кивнул, дал памятку и спросил, не нужен ли мне больничный. Удивительно, как быстро все возвращаются к нормальным вопросам, когда ты отчаянно хочешь, чтобы кто-то заметил в тебе ненормальное.

По дороге обратно Рита остановила машину у пустого детского сада. Долго смотрела на входную дверь. Потом сказала:

— В августе 2002 года на старом комбинате был пожар. В официальной сводке написали, что повреждена электропроводка и никто не пострадал. Мы с тобой были там. И Оля тоже.

— Кто она?

— Её мама работала в цеху. Её звали Ольга Безрукова. Ей было восемь.

— Я думал, она моя сестра.

— Галина иногда называла её дочкой.

Я закрыл глаза. Увидел девочку в розовых сапогах, сидящую на кухонном подоконнике. Она ела яблоко и не могла откусить большой кусок из-за кривых передних зубов.

— Почему ты сказала, что у меня никогда не было сестры?

— Потому что это правда.

— А Оля?

Рита долго не отвечала.

— Оля была тем, что мы могли бы защитить.

К вечеру рука начала неметь. Я не знаю, от анестезии или от боли.

В тетради матери нашёл странную строку на полях, написанную моим почерком. Уверен, вчера её не было.

«Если она снова протянет руку, не дай ей понять, что тебе стыдно».

Под строкой отпечаток окровавленного большого пальца.

У меня забинтована левая ладонь.

Отпечаток — правый.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

3 ноября. Вторник.

Я ненавижу эту ручку. Она всё время падает. Пальцы скользят, ладонь ноет, бинт пахнет йодом и мокрой тряпкой. Пишу одной рукой. Буквы расползаются, будто пытаются отползти с листа подальше от меня. Иногда между ними остаются странные зазоры, будто кто-то пытается вклинить свой почерк в мой.

Сегодня случилось кое-что, чего я боялся даже больше разговоров из холодильника.

Я смотрю, как чернила скапливаются у края каждой буквы. Похоже на синяки под кожей. Если вести ручку медленнее, почерк становится маминым. Если быстрее — чужим, злым, острым. Пришлось переписать слово «Рита» трижды. С первого раза оно выглядело как «РИТО». Со второго — «РЯДОМ». С третьего получилось нормально. Я отложил ручку и заметил, что всё это время разговаривал шёпотом с кем-то слева от себя.

У нас с Ритой был секс.

Пишу это не затем, чтобы похвастаться. В тридцать шесть хвастаться давно нечем, особенно человеку, который днём разговаривает с упакованным мясом, а ночью проверяет, нет ли под кроватью детских сапог.

Просто я должен зафиксировать: на протяжении какого-то времени мне было хорошо.

Страшно, стыдно, неправильно и хорошо одновременно.

Утром она перевязала мне руку. Села на край дивана, осторожно развернула бинт. Кожа вокруг швов была воспалённой, пальцы неловкими. Рита работала молча, сосредоточенно, как со своими пациентами. В какой-то момент я сказал:

— Ты так же спокойно относишься к людям, как к собакам?

Она подняла глаза.

— Собаки меньше врут.

Я засмеялся. Слишком громко.

Рита закончила перевязку, но руку не отпустила. Её большой палец лежал на моём запястье. Я чувствовал пульс в собственном теле и вдруг подумал: интересно, где заканчиваюсь я и начинается страх? Если бы можно было срезать его, как грубую кожу с пятки, сколько от меня осталось бы?

— Ты можешь уехать, — сказала она.

— А ты?

— Я не спрашивала про себя.

Я наклонился к ней. Мы остановились совсем близко, и на секунду я снова стал семнадцатилетним идиотом, который боялся поцеловать девушку у остановки. Только теперь от неё пахло не клубничной жвачкой, а йодом и кофе, под глазами были мелкие морщинки, и обе эти вещи делали её настоящей.

— Если не хочешь, скажи, — сказал я.

Рита сама поцеловала меня.

Дальнейшее вспоминаю не отдельными движениями, а ощущениями: тёплая шея под губами; её пальцы на моём затылке; простыня, холодная на краю и нагревшаяся там, где наши тела соприкасались; осторожность, с которой я берег забинтованную руку; короткий смешок Риты, когда нам мешало старое одеяло. В какой-то момент она прижалась лбом к моему лбу, и мы оба замерли, будто за эти несколько секунд можно было вернуть всё, что не случилось между нами за шестнадцать лет.

Потом мы лежали рядом, слушая шум машин за окном.

Я ощутил удивительную, почти оскорбительную простоту жизни. Мышцы устали. Сердце билось ровно. Рита водила пальцем по моей груди и рассеянно считала старые родинки.

— Семь, — сказала она.

— Что?

— У тебя семь родинок здесь. Раньше было шесть.

— Ты что, запоминала?

Она убрала руку.

— Да.

Через десять минут Рита уснула. Я пошёл за водой и увидел в кухонном окне отражение постели.

На кровати лежали трое.

Не надо смеяться. Я отлично понимаю, как это звучит.

В тёмном стекле — моя спина, плечо Риты и между нами маленькая голова с мокрыми волосами. Девочка лежала лицом к потолку. Я не видел её лица, только очертания носа и подбородка, слишком острые для ребёнка.

Я обернулся.

Нас было двое.

Посмотрел в окно снова.

Трое.

Девочка медленно подняла руку и положила её мне на спину. В отражении на коже отпечатались пять пальцев.

Я резко развернулся и включил свет.

Рита проснулась от моего крика. Подбежала, обняла сзади. Я дёрнулся так сильно, что ударил её локтем. Она зашипела от боли, но не отпустила.

— Что ты видел?

— Девочку.

— Где?

— В стекле. Между нами.

Рита закрыла глаза. Я почувствовал, как её тело стало тяжёлым, словно у человека, которому уже нечем сопротивляться.

— Она ревнует, — сказала Рита.

— Кто?

— Я не знаю. Не всю её. Только то, что осталось.

Снаружи кто-то три раза ударил по стеклу.

Мы живём на втором этаже.

Рита вздрогнула. Потом отстранилась, взяла со стола мамину тетрадь и вырвала одну страницу. Я хотел остановить её, но она уже скомкала лист и сунула в рот.

— Ты что делаешь?!

Она жевала бумагу, не глядя на меня. На губе проступила кровь: край листа, наверное, порезал кожу. Потом она выплюнула мокрый комок в раковину, включила воду и смыла.

— Что там было написано? — спросил я.

— То, чего мы не должны помнить.

— Скажи.

— Не могу. Оно забирает это обратно, если дать словам форму.

Я схватил её за плечи.

— Рита. Пожалуйста. Хватит долбаных загадок.

Она посмотрела на меня и сказала очень тихо:

— Тогда слушай. Я любила тебя в двенадцать. И любила в восемнадцать. И когда ты уехал, я хотела, чтобы ты возвращался хотя бы во сне. Потом мне предложили купить один день с тобой. Только один. Чтобы снова было лето, и ты стоял у реки, и мы ещё ничего не сделали. Я согласилась.

— Кто предложил?

Она не ответила.

— Чем ты заплатила?

Рита подняла футболку. На правом боку, ниже рёбер, тянулся длинный неровный шрам. По краям кожа выглядела так, словно её когда-то пытались пришить обратно грубыми стежками.

— Я думала, плачу собой, — сказала она. — Но цену назначила не я.

Вечером Рита поехала домой за документами. Перед уходом поцеловала меня в лоб — почти по-матерински, и от этого мне стало нехорошо.

Я ещё не лёг. Рука не перестаёт ныть.

На моей груди семь родинок.

Я проверил два раза.

Седьмая находится посередине грудины. Раньше её не было, я уверен. Она круглая, тёмная и слегка выпуклая. Когда я касаюсь её пальцем, из магазина слышится короткий удар.

Будто кто-то отвечает.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

4 ноября. Среда.

Я проснулся и не понял, где нахожусь. В темноте кто-то захлёбывался.

Не красивый киношный хрип. Жуткий, мокрый, унизительный звук человека, у которого в горле больше жидкости, чем воздуха. Я вскочил, босой ногой наступил на что-то холодное, ударился плечом о косяк. Только после этого понял: кашель доносится из ванной. Так бывает, когда человек захлёбывается и пытается позвать на помощь, но рот уже полон воды.

Я знаю, что нужно проверить трубы. Я знаю, как работает эхо. Я даже знаю, что человеческий мозг способен превращать капающую воду в слова, если ты достаточно долго не спал. Знать — не значит выдерживать. Когда я наклонился над ванной, у меня по затылку прошёл холод от чужого выдоха. Я резко обернулся и врезался лбом в полотенцесушитель. На лбу шишка. Хорошо. Боль хотя бы моя. Её никто пока не переписал.

Звук шёл из ванной.

Включил свет. Ванна была сухой. На зеркале — конденсат. Посередине кто-то провёл пальцем две вертикальные линии.

«11».

Я машинально проверил кран. Холодный. Горячий. Ни один не капал.

Затем услышал, что вода течёт по трубам за стеной. Знакомый звук, ничего особенного. Только в нём различались слоги.

О-ля.

О-ля.

Я сел на крышку унитаза и закрыл лицо руками. На короткое время мне захотелось умереть. Не в красивом, книжном смысле. Просто перестать существовать в мире, где даже собственная сантехника умеет произносить имя, которого нет в документах. Мысль прошла быстро. Осталась злость: я ещё не выяснил, кто и зачем меня обманывает.

Утром Рита приехала с двумя папками. В первой — фотографии старого комбината. Во второй — свидетельства о смерти, распечатки, какие-то копии медицинских карт. Солнце впервые за несколько дней пробилось сквозь низкие тучи, и бумага казалась ослепительно белой.

— Это мои материалы, — сказала она. — Я собирала их десять лет.

— Почему раньше не показала?

— Потому что раньше ты не возвращался.

Мы разложили бумаги по кухонному столу. Я впервые почувствовал не ужас, а желание работать: сравнивать даты, находить несовпадения, переписывать фамилии. Мне хотелось, чтобы всё оказалось человеческой ложью. Человека можно поймать, посадить в тюрьму, заста-

вить признаться. Неизвестно, что делать с вещью, которая умеет менять память и трогать тебя во сне.

В документах говорилось о пожаре 14 августа 2002 года на мясокомбинате «Яровинский». Загорелся резервный щит холодильной установки. Официально пострадали три человека. Ни один ребёнок не упоминался. Но Рита нашла списки школьной экскурсии: одиннадцать человек из нашего класса, сопровождавшая учительница и охранник.

Я прочитал фамилии.

Чернов Максим.

Седых Маргарита.

Безрукова Ольга.

Дальше ещё восемь.

— Значит, она была, — сказал я.

— Была.

— Тогда почему ты всё время врёшь?

Рита ткнула пальцем в следующую бумагу. Там шёл список компенсаций, выплаченных семьям после аварии. Всего одиннадцать получателей. Под первой строкой — фамилия Чернов. Под второй — Седых. Под третьей — пустота, но клетка выглядела натянутой, будто текст с неё стёрли.

— Потому что после пожара в нашем классе осталось десять детей, — сказала она. — А за компенсацией пришли одиннадцать семей.

Мне стало холодно.

— Одиннадцатой была семья Оли?

— Нет. Её мать пропала за неделю до пожара. Официально уехала в область, оставила дочь Галине. По крайней мере, так рассказывали.

— А одиннадцатая семья?

Рита развернула лист. На обороте — паспортные данные, адрес и подпись получателя.

Адрес был мой. Мамин дом. Подпись — моего отца.

Дата выплаты: 28 августа 2002 года.

Я выдохнул и закрыл глаза. Последние годы я время от времени переживал приступы внезапного дежавю: заходил в незнакомое место и на секунду точно знал, что уже стоял там, видя тот же узор на стене. Сейчас это ощущение стало физическим. Я словно вернулся в комнату, которой не существовало, и наконец узнал запах.

Фенол. Тёплое молоко. Хлорка.

И ещё — сладость, похожая на варёный лук.

— Там был не пожар, — сказал я.

Рита замерла.

— Что ты вспомнил?

— Нас вывели в цех. Был стол. Длинный, металлический, как в школьной столовой. Только на нём лежала белая… не знаю. Масса. И из неё торчали руки. Не отдельные руки. Будто кто-то прижал ладони к стене изнутри.

Она опустила голову. Мне показалось, что она сейчас расплачется.

— Мы не должны были туда попадать, — сказала Рита.

Сразу после этого в кухне загудела вытяжка, хотя она была выключена. На секунду раздался высокий писк, похожий на обратную связь микрофона. А затем из круглого вентиляционного отверстия, почти шёпотом, женский голос произнёс:

— Маргарита, за вами долг.

Рита оттолкнула стул и встала.

— Надо ехать.

— Куда?

— В архив. Пока он ещё помнит те же документы.

Мы поехали в районный архив на бывшей улице Дзержинского. Здание было небольшим, бывший детский сад, окна с решётками, фасад покрыт ржавыми потёками. Архивистка — женщина в сером свитере — узнала Риту. Она не спросила, какие документы нужны. Только посмотрела на меня и сказала:

— Господи. Похож.

— На кого?

— На своего отца.

Она провела нас в заднюю комнату. Там стояли металлические стеллажи с папками. Воздух пах пылью, клеем и мокрой бумагой. У дальней стены — большой морозильный ларь. Я сначала подумал, что сотрудники хранят там продукты. Потом увидел на крышке этикетку: «АКТЫ ПЕРЕДАЧИ. 1996—2004».

— Бумаги портятся, — сказала архивистка. — Замораживаем то, что нельзя выбрасывать.

Она открыла крышку.

Внутри лежали полиэтиленовые пакеты, плотно уложенные друг на друга. Я потянулся к верхнему, но женщина ударила меня линейкой по пальцам. По-настоящему, сильно.

— Не голыми руками, — сказала она.

Она надела перчатки и вынула пакет с номером 17.

В прозрачном пластике лежала детская косичка. Светлые волосы были связаны красной ниткой. Рядом — лист бумаги с таблицей и подписью:

«Покупатель: Чернова Галина Петровна. Товар: один полный август. Залог: Безрукова Ольга, 8 лет».

Рита тихо выругалась.

А я почему-то вспомнил, как мама однажды отказалась отдать мне последнюю котлету. Мне было лет семь. Она сказала: «Оставь Оле». Я помнил, что тогда страшно обиделся и заявил, что Оля вообще не наша.

На пакете номер 17, прямо поверх наклейки, выступил конденсат.

Потом влага медленно собралась в пять маленьких капель — будто изнутри кто-то приложил к нему пальцы.

Архивистка закрыла ларь.

— Вам бы надо было уехать, — сказала она. — Как Галина просила.

У двери она добавила:

— И ещё. Никому не показывайте первые три записи Максима.

— Почему?

Женщина посмотрела на дневник в моей руке, которого я ей не показывал.

— Потому что первую запись сделал не он.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

5 ноября. Четверг.

Я проспал двенадцать часов. Или шестнадцать. Когда проснулся, окна были закрыты картоном, на кухне дымилась кастрюля, а Рита сидела у стола с моей синей тетрадью. По лицу было видно, что она уже давно плачет — кожа вокруг носа красная, ресницы слиплись.

Рита плакала, уткнувшись в тетрадь, как в чужое письмо с фронта. Мне захотелось обнять её, а вместо этого я стал спрашивать, почему закрыты окна. Какая мерзкая привычка: когда не знаешь, что делать с любовью, начинаешь проверять засовы. Потом я нашёл в кармане сложенную салфетку. На ней моим почерком было написано «я не давал согласия». Не помню, когда писал. Но помню, как кто-то держал моё запястье, чтобы буквы получились ровными.

— Это не твой почерк, — сказала она.

Я посмотрел на страницу.

Все первые записи были написаны моей рукой. Или очень похожей. Но в слове «Оля» буква «л» уходила длинной петлёй вниз. Я никогда так не писал. Мать тоже. Рита писала печатными буквами, аккуратно и ровно.

— Ты видела этот почерк раньше?

— На стене в цеху.

Она открыла папку. Там была чёрно-белая фотография с низким разрешением: бетонная стена, царапины, влажные разводы. Посередине крупными неровными буквами написано: «ПУСТИТЕ МЕНЯ ОБРАТНО». В слове «обратно» та же длинная петля у «р», что в моих дневниковых записях.

— Это Оля? — спросил я.

Рита обхватила себя руками.

— Не знаю. Когда человек долго остаётся там, где его никто не помнит, он может научиться писать чужими руками.

— Ты говоришь так, словно читала инструкцию.

— Мы все её читали, — сказала Рита. — После того, как нас вывели из цеха. Ты, я, Гоша, твоя мать. Там объяснялось, как держать счёт. Никто не понимал, для чего. А потом мы начали забывать.

— Где инструкция?

— Её съели.

Я посмотрел на неё.

— В каком смысле?

— В прямом, Макс. Бумагу пришлось съесть. Чтобы то, что в ней было написано, не досталось другому.

У меня перед глазами возник вчерашний мокрый комок, который Рита выплюнула в раковину.

Часть меня хотела отшатнуться от неё. Другая — обнять и больше никуда не отпускать. Рита смотрела в стол и терпеливо ждала, пока я решу, какой человек из меня получится.

Я обошёл стол и сел рядом.

— Расскажи мне всё, — сказал я.

Она подняла глаза.

— Только ты потом не сможешь сделать вид, что ничего не знал.

— Я и так уже не могу.

Рита говорила почти час. Частично я записал по памяти сразу, частично — с диктофона, который положил на стол, спросив разрешения.

В 1996 году при мясокомбинате построили экспериментальную линию. Официально — для переработки животного белка. Неофициально — для проекта, который называли «Сохранение остатка». Один из технологов обнаружил странное свойство образцов, оставшихся в старом подземном холодильнике: при контакте с живой кожей некоторые ткани воспроизводили звуки, жесты и воспоминания погибших. Сначала считали, что это химическая реакция. Потом стали записывать голоса. Потом — продавать записи семьям умерших. А когда выяснилось, что покупатели слышат не плёнку, а настоящие, личные воспоминания, которые никто другой знать не мог, началось то, что Рита назвала «рынком памяти».

Но воспоминания оказались не бесплатными.

Люди, которые приходили увидеть умерших ещё раз, постепенно забывали живых. Сначала имена знакомых. Потом собственные праздники. Потом целые годы. Освободившееся место заполнялось чужим: горем другого человека, его страхом, чувством голода. Некоторых находили ночью возле комбината. Они стояли в очереди, босые, в домашних рубашках, и держали в руках пакеты с едой, которой не было.

— А дети? — спросил я.

Рита посмотрела в окно.

— Детей легче убедить, что воспоминания правдивые. Они ещё не знают, сколько человек способен наврать самому себе.

В 2002 году нас привели на экскурсию в старый цех. Мы увидели то, чего не должны были видеть. Гоша закрыл за нами дверь. Отец, который якобы умер за три года до этого, был там. И мама тоже.

— Почему вы не выбежали?

— Потому что дверь была без ручки изнутри.

Я почувствовал металлический холод в ладони, хотя швы находились в другой руке.

— Кто держал дверь снаружи?

— Мы, Макс.

— Ты сказала, изнутри не было ручки.

— Сначала не было. Потом тебе дали выбор.

Её голос дрогнул. Рита опустила лицо в ладони.

— Я не могу дальше.

Я не стал заставлять.

Но вечером, когда вышел покурить, увидел у заднего крыльца Гошу Ключникова. Он сидел на корточках, прижимая к груди большую картонную коробку. Лицо распухло после наших вчерашних ударов. Один глаз почти заплыл, на губе засохла кровь.

— Я не приду больше, — сказал он. — Только это возьми.

— Что там?

— То, что твоя мать берегла от тебя.

Я открыл коробку.

Внутри лежали одиннадцать пар детской обуви. Кеды, сандалии, школьные ботинки, резиновые сапоги. Всё чистое, аккуратно сложенное. На каждой паре — бумажная бирка с именем.

Среди них были розовые сапоги Оли.

А рядом — мои чёрные кроссовки, которые я носил в двенадцать лет.

На бирке значилось:

«ЧЕРНОВ МАКСИМ. ВОЗВРАЩЁН. НЕДОПЛАТА — 1».

— Какого чёрта это значит? — спросил я.

Гоша закрыл лицо руками.

Он плакал некрасиво, с мокрым носом и короткими всхлипами, совсем не так, как плачут персонажи кино. Мне было противно смотреть, и в этом отвращении я вдруг узнал самого себя двенадцатилетнего: мальчика, который не хотел видеть, что взрослому страшно.

— Значит, — сказал он, — тебя уже покупали. И не один раз.

Почти ночью телефон зазвонил.

Номер был незнакомый.

Я ответил, не посмотрев на экран.

— Максим? — спросил женский голос.

Я узнал его сразу, хотя никогда прежде не слышал взрослой Оли.

— Ты так долго добирался, — сказала она. — Я уже почти доела твою память.

Связь прервалась.

В журнале вызовов написано, что разговор длился одну секунду.

Я помню каждое слово.

И ещё то, чего она не сказала.

Перед тем как заговорить, Оля коротко рассмеялась. У неё был смех взрослой женщины, уставшей ждать.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

6 ноября. Пятница.

Я завёл второй дневник. Первый не выдерживает меня, а второй, кажется, меня не узнаёт.

Проверял совпадения в двух дневниках. Пальцем водил по строчкам, как первоклассник. На третьем сравнении поймал себя на отвратительной мысли: мне хочется, чтобы один из них солгал. Тогда виноват будет бумажный лист, старый телефон, сбой памяти — кто угодно, кроме меня. Удобно устроился, Чернов. Из комнаты пахнет чужой зубной пастой. В коридоре скрипнула ступенька, хотя в доме никто не ходит. Я всё равно допишу. Я не собираюсь дарить этому дому даже слово.

Этот — в синей маминой тетради. Второй — на старом кнопочном телефоне, который нашёл на верхней полке шкафа. Я ввожу туда короткие заметки в виде черновиков СМС. Телефон без сим-карты, аккумулятор почти не держит заряд. По крайней мере, память в нём нельзя исправить одной строчкой так незаметно, как на бумаге.

Проверка, которую сделал сегодня утром: на бумаге написано «Ключник принёс одиннадцать пар обуви». В телефоне — то же самое. В коробке — десять пар.

Я пересчитал семь раз.

Десять.

Сапог Оли нет. На их месте две влажные прямоугольные тени, будто обувь простояла здесь всю ночь, а потом её подняли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.